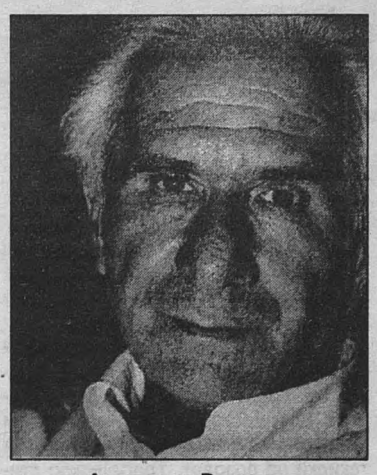
Александр Володин:

«В России все почему-то не любят друг друга, может быть, в этом наша главная беда?»

Александр Моисеевич Володин — драматург, писатель, поэт, автор киносценариев знаменитых фильмов "Осенний марафон", "Звонят, откройте дверь", многих других, автор десятков пьес, идущих в театрах страны. Фронтовик, интеллектуал, человек необычайной открытости, порядочности, наивности почти детской. Трудная жизнь, трудное время. Мы сидим в его квартире на Петроградской, и я задаю ему вопросы.



Александр Володин.
Фото М.Лемхина.

— Александр Моисеевич, как вам удалось прожить свободным человеком в несвободной стране?

— Это началось с детства. У меня не было матери, отец женился, мачеха потребовала, чтоб я с ними не жил. Я жил у родственников, был сам по себе. Социальной жизни нашей страны я не знал, да и знать не хотел. Я очень любил театр, потому что двоюродный брат был актером, он меня приучил ходить в театр. Окружающий мир был — Шекспир, Шиллер, Островский, то есть все не про нашу жизнь. Влюблялся в девочек, вот таких: "Ты появишься у двери, в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют", — так и представлял их, прекрасных, читающих стихи. Пастернака очень любил, мне его брат показал. Я жил в Москве, на Первой Мещанской, и школа у нас была такая, мещанская, — никто не жил социальными интересами. Чтоб не сидеть у родственников нахлебником, я после школы поехал учителем в деревню. Там тоже жил отдельно от всей жизни, которая вокруг была, учил ребят, наиболее способным читал стихи, по вечерам в сельпо покупал себе четвертинку и соевые баточники на закуску. Отдельно я жил от этой страны.

Но знал, что быть евреем стыдно. Как-то чувствовалось это везде, во всем. Думал — ну стыдно, но что же делать — вот таким я родился. Однажды только мы с другом моим, Моней Померанцем, шли по мосту, он мне вдруг говорит: "Ты знаешь, Колумб был евреем". Я так и оторопел! — И Эйнштейн был евреем, и Гейне. Я еще более оторопел. Там, на мосту, я вдруг почувствовал, что это не стыдно, раз такие люди, столько сделавшие для человечества, были евреями. Я перестал этого стыдиться.

В деревне мне было очень одиноко, я уже не знал, что с собой делать. Сельским учителям давали бронь, но я решил — пойду добровольцем в армию. Три года. Армия мне ненавистна до сих пор. Тогда еще не было дедовщины, но был приказ минобороны Тимошенко, что за неисполнение приказа рядового красноармейца офицер имеет право расстрелять, бить как попало и так далее. Нас готовили к войне. Бесконечная рабская жизнь. Я познакомился с девушкой за пять дней до ухода в армию. Я иду к ней, а навстречу капитан Линьков. "Товарищ красноармеец, где увольнительная?" Я отвечаю: "Нет увольнительной, я еще присягу не принял". "Встать по стойке смирно! Кругом! Шагом марш в казарму!" Я говорю: "Товарищ капитан, вокруг ходят гражданские, они слышат, как вы кричите, неудобно. Вы извините, я пойду, а вы стреляйте, если хотите. Простите меня". И пошел. Он не стал стрелять почему-то.

Это мирная была армия. А когда объявили, что война, это было счастьем необыкновенным. Нас в воскресенье повели в кино, а я в зал не пошел, стоял и смотрел на женщин, которые шли мимо, стуча каблучками. Сеанс кончился, солдаты выбежали, обнимаются, целуются, хохочут. "Война!" Сейчас мы всех победим за две недели, и наконец нас отпустят, демобилизуют. Мы шли и пели песни, а женщины стояли на крылечках и плакали, глядя на нас.

Потом на нас шли немецкие танки, а наших почему-то не было. Наверно, начальство решило — пусть они пробуксуют на нашей крови. У них автоматы — а у нас ружья, каждый патрон надо перезарядить. У них самолеты, а наших нет. Нас так долго готовили к войне, но к другой, это мы должны были на них напасть, Сталин собирался заграбастать еще себе страны, а напали на нас.

После войны, когда думалось — наконец свобода, счастье, время было тусклое, опасное, аресты. Тогда я начал понимать, что происходит. Читал самиздат, меня стали вызывать в КГБ, допрашивали по разным поводам. Это уже во времена Хрущева, они мне говорят — видите, мы теперь другие, вот, мы стихи Коржавина читаем, говорите с нами откровенно. Но я-то понимал, что они не другие, а те самые. Я полюбил страны, которые они покорили, — Эстонию, Латвию, Литву, Венгрию, Чехословакию... У меня есть стихи про Эстонию, я в них прошу прощения у эстонцев за мою империю.

Когда в Прагу вошли танки, у меня был такой случай. В ВТО полузнакомая женщина говорит: "Есть хочется, а денег нет". А у меня были. Я ее повел в ресторан покормить. Она пошла танцевать, а я выпил изрядно. Встал и кричу на весь зал: "Стукачи, выньте карандаши и блокноты! Я за свободу, демократию и Чехословакию!" Звук тарелок-вилок притих, но карандаши никто не вынимает. Ну, я и еще раз это проорал.

В общем, мне стала чужда и отвратительна жизнь этой империи. Я писал стихи про империю, про Вильнюс, про Таллин, про Грузию, они скоро выйдут в журнале "Пен-клуб". Стал я писать пьесы, которые были не то что против, просто — без *них*. Счастье люди получают друг от друга, несчастье тоже, а вот партсекретарей, правительства, ЦК — просто нет в моей жизни. Они сделали нашу жизнь отвратительной, гнусной.

— Расскажите про людей, которые на вас повлияли, которых вы любили.

— Булат Окуджава. В первый раз я увидел его, когда московские поэты приехали сюда, в Ленинград. Выступали в Доме писателей, потом мы пошли с ними в Октябрьскую гостиницу. Потом какой-то черноволосый человек с усиками, невысокий, смуглый, поставил ногу на стул и стал петь песни под гитару. Через две-три песни у меня слезы покатились по щекам. На другой день я начал всем рассказывать, что я слышал. Меня спрашивали: "Что, у него хороший голос?" — "Не в этом дело". — "Что, хорошая музыка?" — "Не в этом дело". — "Он хорошо играет?" — "Нет, он мне сказал, что освоил только три аккорда". — "А в чем же дело?" — "Я не знаю, в чем, — говорю. — Что-то высшее было в его песнях". Тогда у Булата было всего восемь песен, он пел их потом в Доме кино, народу было мало. Его попросили снова спеть эти песни, потому что других у него еще не было. Потом третий раз их спел на бис. Слухи пошли по городу. Мне звонит директор ВТО: "Что такое вы говорите про какого-то *Огуджаву*? Кто такой *Огуджава*? Почему такие восторги? Он что, антисоветский?" Я отвечаю: "Он не антисоветский и не советский, он выше этого". Его пригласили выступить, с тех пор мы близки друг другу, как родные. Когда я узнал, что он умер, у меня как будто половина души отпала, а с другой половиной, с оставшейся, я и не знаю, что мне делать, чем жить.

Незадолго до смерти мы с ним говорили, он меня звал Шура, как в детстве звали, откуда он это почувствовал? Пришел к нему в Москве, он говорит: "Ты знаешь, я выздоравливаю, — он ведь долго болел, мучился с легкими. — Стал уже писать по три строчки в день, сколько получится, ни с кем пока не общаюсь, только по телефону, никого к себе не пускаю". Я говорю: "А что меня-то пустил?" — "Ну ты же другое дело. Через месяц я уже буду выходить на улицу, воздухом дышать".

Через месяц я узнал, что Булат умер в Париже. Больше я о нем говорить не буду, потому что это невозможно.

Второй человек — Пастернак, которого я не видел никогда. Мне о нем рассказал старший двоюродный брат. Читаю и ничего не понимаю сначала. Снова читаю и вдруг понял, почувствовал. Уверен был, что о нем знаем только двое — я и мой двоюродный брат. Фамилия странная, я решил — итальянец.

С ним я и прожил жизнь, с его стихами. Его не посмел увидеть. У него есть такая строка: "Куда мне бежать от шагов моего божества?" Это про композитора Скрябина. И это мое к нему отношение.

А дальше я и перечислять не буду, это очень много актеров, режиссеры Товстоногов, Олег Ефремов.... Олег мне говорил: "Если меня посадят, ты мне будешь передачи носить, если тебя посадят — я тебе". Все, кто в "Современнике", в БДТ, минские актеры, которые поставили изумительно мою плохую пьесу "С любимыми не расставайтесь".

Вот выйдет у меня книжка "Попытка покаяния", там будет список друзей, перед которыми я виноват, что в последние годы уединился и мало с ними общался, но ведь люблю их. Там весь этот список есть. Я дописал потом, что упоминать всех будет смешно и все равно неполно. Писатели, поэты и самые простые люди — вот, например, разливальщицы в рюмочных. Люди, которые не справляются с жизнью, как я уже не справляюсь.

— Я тогда сама вас спрошу. Расскажите про Зощенко.

— Я его очень любил, очень. Главное, не смешные его рассказики, а сентиментальные повести, в которых несчастливые люди. Грустные-грустные люди, у которых жизнь не удалась. Видите, у меня его книга всегда на столе.

Однажды в Ленинград приехали Симонов и Кожевников, чтобы на собрании писателей заклеймить Зощенко. Мне перед собранием звонили незнакомые люди: "Вы не будете каяться?" Я отвечал: "Нет". А от Зощенко требовали покаяния. Он вместо этого прокричал о своей жизни, о том, что он английским студентам сказал, что не согласен с постановлением Жданова. За детский смешной рассказик на него обрушились, как будто это был антисоветский пасквиль.

Мы с Зощенко не были близки — слишком разный возраст. Только однажды он меня спросил: "Мне иностранцы хотят дать денег, я их взять не могу — меня обвинят за это. А пишущую машинку я могу у них взять или нет?" Я говорю: "Конечно, можете, конечно!" Так и не знаю, взял ли он машинку.

— А Ахматова?

— Я к ней тоже относился, как к божеству. Однажды она меня пригласила в Комарово, вместе со своими молодыми друзьями. Там были Рейн, Найман, Уфлянд, мама Алексея Баталова, ее подруга. Я слышу — за столом все говорят коротко, громко и остроумно. Очередь подходит ко мне, а я при ней слова не могу вымолвить, делаю вид, что рядом сидящему что-то говорю на ухо. А она говорит: "Скажите нам всем, нам интересно". Я повторил вслух какую-то чушь, которую соседу говорил. Мама Баталова сказала: "Да, разговорчивый гость нам сегодня попался". А она говорит: "Да нет, что вы, он все время говорил, просто про себя". Единственная встреча.

— Александр Галич?

— Галич здесь был, в этой квартире, пел свои песни. Здесь был квартирный концерт, я позвал киношников и режиссеров послушать Галича. Высоцкого я очень любил...

— Сергей Довлатов?

— Он бедствовал, когда мы с ним познакомились. Он мне приносил читать свои первые вещи — "Зону" и другие. Очень он мне полюбился. Я тогда работал редактором на "Ленфильме", туда два грузина принесли сценарий, очень плохой. Но мне главный редактор дал понять, что это такие люди, их не прогонишь, поэтому надо сценарий доделать и переделать. Я тут же позвонил Довлатову: "Хочешь заработать 400 рублей? Срочно, приезжай". (Они сказали ему: "Мы — джазисты". Я Сергею говорю, что, может, "джойсисты", последователи Джойса.) Он все переписал, дал посмотреть мне — был уже хороший сценарий. Грузины говорят: "Не хуже, чем было". Один говорит: "Я посвящаю этот сценарий тебе!" Другой отвечает: "А я тебе!" Это были работники комсомольского ЦК. Но сценарий не пошел, никому не заплатили.

Теперь, в Америке, где живут мои дети, я прочитал все четыре тома Довлатова. Это было просто счастье для меня, это теперь мой самый близкий писатель.

— Про Товстоногова расскажите.

— Я его очень уважал и ценил, очень. После первой пьесы "Фабричная девчонка", которая пошла довольно шумно (были и запреты, и награды), ко мне приходит его завлит, Дина Шварц, в маленькую комнатку на улице Восстания, семь метров. (Мне как-то позвонили из Союза писателей — приехал Назым Хикмет, турецкий поэт, хочет с вами встретиться, к вам высоко ли подниматься, а то он сердечник. Я говорю, к нам не подниматься, к нам опускаться, мы в подвале жили — улица Восстания, дом 22, квартира 2. Окошко выходило на мусорные баки в подворотне. Я в одной пьесе этот адрес упомянул, и мужчина пришел туда искать героиню — Тамару. Я ему сказал: "Она уже переехала".) Пришла ко мне Дина Шварц и просит пьесу "Фабричная девчонка" для Товстоногова. Я отвечаю: "Ему не дам, мне за нее стыдно. Эту пьесу я разлюбил". Дина второй раз приходит: "Георгий Александрович просит, чтобы я взяла вашу пьесу, если не возьму — не знаю, что он со мной сделает, уволит". Дал я тогда эту пьесу. На другой день он сам звонит: "Александр Моисеевич, мы начинаем репетировать вашу пьесу, прочитайте ее у нас. Я буду ставить спектакль с волшебством". Недавно Зина Шарко, которая играла главную роль, вспоминала, как мы эту пьесу читали: "Володин говорит — нет, это плохо, этот кусок тоже неудачен, это я пропущу, это переделаю, потом снова прочитаю". Тогда Товстоногов спокойно взял у меня пьесу и так прочитал, что мне даже эта неудачная пьеса понравилась.

Репетировал он очень точно и хорошо, я понял, какой он умный и прозорливый человек. Его звали все там Гога. Я и не знал, что это от имени Георгий, все думал, за то зовут, что он так хохочет: "Го-го-го!" Когда был спектакль, я вышел с рулончиком контрамарок к своим друзьям и уговаривал их: "Это неудачная, маленькая пьеса, не надо ходить", — так и не дал никому контрамарок. Отдал своей знакомой, она весь рулончик тут же людям раздала. Но к дружбе с ним я был неспособен, так до конца и смотрел на него, как на божество. Они с Нателлой все звали меня — приходите к нам, приходите, ведь живем рядом. Лебедев просил, а я все стеснялся, пока не узнал, что его больше нет.

— А противные людишки легко к нему ходили, и сидели, и нудели, правда?

— Правда. И ко мне приходят, читают, болтают. Я вижу, что это пошляк, а он все сидит, сидит, сказать уходи — неудобно, только про себя говорю — больше никогда с ним не увижусь.

— Про Гердта расскажите.

— Вот это мой друг был с самого начала до самого конца. С ним было легко, он понимал, что трудно, что неудобно. Как мне рассказать о дружбе, которая длилась годы и годы?

— Ну хоть что-нибудь, а то забудется.

— Остановился Зяма в "Астории", его там все любили. Стали мы с ним ловить машину, а они не останавливаются, ну что там — два неприглядных мужичка. Тогда мы пошли на стоянку такси, я встал в очередь, она огромная. Зяма говорит: "Сейчас нас пропустят". Он выходит к началу очереди, начинает расстегивать штаны и говорит: "Я — фронтовик, я вам покажу сейчас, сколько ноги у меня осталось". Очередь ахнула, нас пропустили.

— А запрещали вас часто?

— Может, я и просто бы перестал писать из-за запретов, но меня пробивали режиссеры. Вот Товстоногов ходил, бился за "Пять вечеров". А ему в обкоме: "Почему она одинокая, эта женщина-героиня? И он тоже почему-то одинок". Одиноким быть тогда считалось преступлением. Но Товстоногов все отстоял. Я уж забыл, с кем тогда говорили — то ли с Романовым, то ли с Толстиковым.

— К первому секретарю обкома ходили пьесу обсуждать?!

— Да. В театр приходила Фурцева, ходила со мной по круглому коридору перед прогоном спектакля и спрашивала: "Какие зарубежные драматурги вам нравятся?" А мне не до того, она приехала запрещать спектакль. Я и говорю ей: "Люблю Теннесси Уильямса, Артура Миллера, Эдуардо де Филиппо". — "Вот в чем ваша ошибка, — говорит. — Итальянский неореализм не наша дорога. В искусстве никогда не надо ничего обобщать".

— А когда вы начали писать?

— Уже взрослым, после войны. Писать я начал поздно, потому что всегда был неуверен в себе. Когда меня сильно ранили и я на ладан дышал, думал в госпитале: "Если б мне дали прожить хоть год еще, что бы я сделал? Я бы написал «Войну и мир»!"

Приехал друг фронтовой, я ему это рассказал, уже восемь лет прошло после войны. А наутро думаю: "А почему я ничего не делаю?" И стал писать рассказики. Мне один режиссер однажды сказал: "Саша, твои поправки в спектакль не войдут, но они войдут в историю".

— Александр Моисеевич, а вы себя чувствовали евреем, были проблемы, с этим связанные?

— Было такое, когда издавались первые мои рассказики, я их осмелился дать для консультации в "Советский писатель". Они там понравились, главный редактор Наумов вызвал меня, водил по всем машинисткам, корректоршам, знакомил. А потом редактор, который делал сборник "Молодой Ленинград", говорит: "Вы знаете, у вас такая фамилия, что вас будут путать. Вот есть Лифшиц, он деньги на радио не отдал, другой Лифшиц о Шагинян написал плохо". Я-то понимал, в чем дело: в сборнике все фамилии русские, и вдруг один Лифшиц. "А что делать?" — спрашиваю. "А вот как вашего сына зовут?" — "Володя". Так и стал я Володиным.

— А как вы себя ощущаете: сколько вам лет внутри?

— Мне недавно сказал очень достойный человек: "Саша, ты ведешь себя и живешь так наивно, как пятилетний ребенок". А тут недавно я бежал в магазин побыстрее, чтоб жену надолго одну не оставлять, она хворает, а мне парень и говорит со скамейки: "Ну батя, ну ты бегаешь, я так не могу". В булочной забыл сдачу взять, продавщица говорит: "Дедуля, вы деньги оставили". Иной раз чувствую — мне 18 лет, а внутри-то знаю, мне 79, ничего себе...

— Скажите про сегодняшний день. Каким он вам видится?

— Это время сложное. Раньше я знал, против чего я, за что я, а теперь, в этом сумбуре, который происходит, иногда не могу разобраться. Свое отвращение к тупым "новым русским", номенклатурным миллионерам я выражаю, но писать об этом не могу. Трудно мне во всем разобраться. Как-то мне один приятель сказал: "Все твои промахи — точно в цель". Боюсь теперь сделать промах не в цель. Знаете, в России все почему-то не любят друг друга, может быть, в этом главная беда. Вот я иду по улице в Америке, а все машины тормозят, и мне что-то кричат водители, ничего не понимаю. Я рассказал Булату, он говорит: "Со мной то же самое было. Ведь они тебе кричали: «Давайте, мы вас подвезем!»" Здесь такое сейчас невозможно...

Записала
АННА ПОЛЯНСКАЯ

Санкт-Петербург